



ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

На старших курсах института часто можно было слышать ироническую, набившую оскомину фразу: «История болезни пишется для прокурора». Врачи-педагоги произносили эту претендующую на шутку фразу несколько иначе, мягче, что ли: «История болезни пишется и для прокурора». Надо признаться, что в этой шутке, согласно поговорке, есть своя доля истины. История болезни — это, пожалуй, единственный официальный документ, по которому впоследствии можно восстановить всю... историю болезни. Но опустим грустную шутку с ее известной долей правды. В конце концов, история болезни пишется для самого больного. И для науки она пишется, а стало быть, для будущих больных. Еще она пишется, мне кажется, для меня. Я люблю перелистывать их. Люблю перелистывать не только те, которые писал, заполнял сам. В них, как в зеркале, отображается отрывок, отрезок чьей-либо судьбы. И порой видишь, как от этого отрывка зависела вся жизнь человека. Иногда мне кажется, что этот самый отрывок можно даже измерить, волоском измерить. И человеческая жизнь висит на этом волоске. Оборвется — экзистус, смерть.

Жизнь висела на волоске и у Лусине Арутюнян. Об этом рассказывается со всеми подробностями в истории болезни номер 311. Она лежит у меня на письменном столе. Некоторые страницы ее ветхие. Местами — утолщения от клея. От приклеенных друг к другу бесчисленных анализов. Перелистываю страницу за страницей и вижу, как порой истончается и без того тонкий волосок, готовый в любую минуту оборваться. А порой, судя по всем записям, кажется, что волосок этот давно уже оборвался и происходит нечто необычное, невероятное: женщина еще жива. У нее прослушиваются тоны сердца, прощупывается пульс.

Все началось, как это часто бывает, неожиданно. Почувствовала недомогание. Обратилась к врачу не сразу. Мало ли что бывает с нами! Не всегда же спешишь к врачу. Надеешься на лучшего и надежного лекаря — время. И когда время тоже не

помогло, Лусине обратилась к врачу. В поликлинику пришла вместе с мужем. Всего три месяца назад они поженились. Муж ждал в коридоре, пока ее осматривала врач. Лусине вышла из кабинета с испугом в глазах. Муж сразу обратил на это внимание. Оказалось, врач подозревает серьезную болезнь и потребовал срочно пройти обследование.

Анализы подтвердили подозрение. Лусине госпитализировали. Правда, она не хотела ложиться в больницу. Отказывалась. Считала, что не настолько больна. Но настояли, и в первую очередь — Самвел.

Все поначалу шло нормально. В первый день молодые супруги даже долго хохотали. В помятой больничной одежде Лусине выглядела смешной. Всегда она одевалась модно, всегда тщательно подведены глаза, красиво уложены пышные каштановые волосы. И вдруг этот морщинистый халат с подозрительными пятнами, распущенные волосы, глаза, совсем не похожие на глаза Лусине, излучающие свет. Перед уходом Самвел про себя подумал, что у жены изменились глаза не оттого, что они сейчас не так тщательно подведены, — в них действительно изменился свет. Он стал блеклый, словно затуманенный.

Возвращаясь домой, Самвел то и дело ловил себя на мысли, что размышляет об этом. Всего несколько дней — и так они изменились. Словно выцвели. Еще несколько месяцев назад он бродил по ночному Эчмиадзину и чувствовал себя самым счастливым человеком на земле. Он, коренной ереванец, каждый вечер теперь приезжал в Эчмиадзин, где жила Лусине. Вспоминал, как они сидели в скверике у памятника Комитасу, и она, прижавшись лицом к его широкой груди, однажды спросила шепотом:

— Бог есть?

— Как тебе сказать? — тоже шепотом ответил он вопросом на вопрос, целуя ее гладкие волосы.

— Есть. Обязательно есть. Может, для других нет, но для нас он есть. Если бы его не было, мы бы с тобой не встретились.

— Миллионы людей ежедневно встречаются друг с другом на земле.

— Ты плохо сказал. Скучно сказал.

— Не буду больше скучно.

— Цифры — всегда скучно.

— Не всегда.

— Не спорь со мной, любимый. Не спорь. Я всегда так мало требую. И теперь лишь хочу сказать, что цифры — скучно, и еще...

— И еще есть наш бог...

— Да, и еще это. Твои скучные миллионы... Но ведь они встречаются не друг для друга. Они не ужасаются от мысли, что могли бы и не встретиться. А мы ужасаемся. Значит, Бог есть. Я люблю тебя.

— Домой пора, — сказал он.

— Не спорь со мной.

— Твоя мама, наверное, сейчас висит на окне и смотрит вниз.

— Я очень люблю маму.

— Любишь и заставляешь переживать...

— Я и тебя люблю, — прошептала она и, стоя на носочках, прикоснулась щекой к его щеке.

Он целовал ее глаза. Он часто целовал ее глаза. И всегда говорил одно и то же: «У тебя самые вкусные глаза на свете». И еще он часто целовал ее гладкие, ниспадающие на плечи волосы и тоже повторял: «У тебя самые вкусные волосы на свете».

Всякий раз, когда уже к полуночи они приближались к ее дому, тень в окне на третьем этаже исчезала. Это отходила в глубь комнаты ее мать. И как только тень исчезала, дочь улыбалась. Ей представлялось, как мать спешно отступает от окна, и от этого становилось смешно. Он не смеялся. Ему было неловко, что он заставляет переживать женщину, которую уважал. Ему очень нравилось, что мать его возлюбленной человек тихого нрава. Он с детства не мог переносить крикливых женщин.

— Пойдем к нам, — сказала она.

— Неудобно.

— Ты же видел, мама не спит. Не спорь со мной. Важно не то, почему она не спит...

— А то, что она не спит... — Он засмеялся. — Завтра увидимся.

— Я не люблю, когда ты говоришь «завтра увидимся».

— Почему?

— Потому что мне хочется спросить: «А послезавтра?»

— И послезавтра тоже...

— Тогда хочется спросить: «А послепослезавтра?»

— И послепосле и еще раз послепослезавтра.

— Всегда...

— Да, всегда, — сказал он и, поглядев по сторонам, поцеловал ее.

— А ты трус, — сказала она улыбаясь.

— Да, трус.

- А разве бывают писатели трусы?
- Бывают!
- Ты же, я знаю, волков не боялся...
- Волков не боялся.
- А сейчас...
- А сейчас людей боюсь. Стесняюсь.
- Кого? Никто же не видит. Темный подъезд.
- А наш бог?

Она разразилась громким смехом и прижалась к нему, продолжая смеяться. Он прикрыл ладонью ей рот и целовал глаза, целовал волосы. И все говорил: «У тебя самые вкусные глаза на свете... У тебя самые вкусные волосы на свете».

- Пусть на нас смотрит наш бог, — едва слышно сказала она.
- Пусть, — повторил он.

Она медленно поднималась по лестнице. Он стоял внизу, в темном подъезде, и ничего не видел. Слышал только ее удаляющиеся шаги. Потом, облокотившись на перила, она шепотом позвала: «Самвел». Он в ответ произнес ее имя: «Лусине...»

Самвел возвращался домой всегда по одной и той же дороге. И не раз ловил себя на том, что к нему приходят одни и те же мысли. Он думал, что все изменилось в жизни и сам он изменился. Убеденный холостяк. Человек, превыше всего ставивший свою личную свободу, вдруг стал презирать само слово «холостяк». И свобода ему уже была не нужна. В полночном Эчмиадзине он не раз произносил вслух: «Зачем мне свобода без Лусине?» Так он говорил, невольно оглядываясь по сторонам. Не слов сказанных боялся, а того, что люди что-нибудь подумают о нем. В самом деле: спешит по неровным тротуарам Эчмиадзина взрослый человек и сам с собой разговаривает. «Долой свободу ради свободы! — выкрикивал он, убедившись, что никто его не слушает. — Долой самообман!»

Больше всего в жизни Самвел презирал самообман. Человек, обманувший себя, — не человек. Предатель. А предатель никогда не был человеком. Будь честен с самим собой, и этого достаточно. Этого достаточно, чтобы ты был честен перед всем миром. В конечном итоге во всей вселенной есть только два мира: один — это ты, второй — это вся вселенная. И оба мира — одно целое. Неразрывное. Обманувший себя, обманет и саму вселенную. А это, наверно, страшно — обмануть вселенную. Если ты сумел обмануть на пылинку, то обманешь и на Эверест. Если тебя печатают, тебя называют писателем, выпускают твои книги, то это еще не говорит о том, что ты рожден для

того, чтобы поучать мир. Это самообман. Как самообман и то, что писатель должен ложиться спать и вставать со своей свободой. Нет на свете ничего слаще меда. Но нельзя есть мед беспрерывно. После меда хочется чего-то другого. Соли хочется. Человеку всего хочется. И свободы тоже. Но приходит время, когда ему чего-то хочется больше всего. Приходит время, когда человеку больше всего хочется отдавать. Отдавать кому-то даже свою свободу. Отдавать свою свободу, чтобы увидеться с Лусине. Чтобы целовать ее глаза, теребя в руках как шелк гладкие, нежно пахнущие волосы.

...Мысли эти не покидали Самвела и дома. Он не мог заснуть. Не мог забыть глаза, которые в больнице казались выцветшими.

С каждым днем состояние Лусине ухудшалось. Она таяла на глазах. Замучили ее бесконечные анализы, замучили осмотры. Чуть ли не каждый день входил в палату новый специалист. Осматривал. И оставлял запись в истории болезни. Я читаю эти записи и почему-то в первую очередь думаю о Самвеле. Это он поднял всю медицину на ноги, и потому так много консультантов заходило в палату Лусине. Но консультанты тоже не могли ей помочь. Все подтверждали одно и то же. Один и тот же диагноз... Неизлечимая болезнь.

Одна из записей начиналась с того, что приглашали на беседу мужа. Оказалось, в довершение ко всему, Лусине беременна, как было записано, — десять-двенадцать недель. Таков срок беременности. Это была первая запись. Далее можно встретить и другие цифры: двадцать недель... тридцать недель. И каждая запись завершалась неизменной фразой: «Рекомендовано прерывание беременности, с этой целью необходимо перевести больную в гинекологическое отделение».

Беседа с Самвелом сводилась к тому, чтобы он тоже посоветовал жене дать согласие прервать беременность. Но как он мог дать такой совет, когда она не разрешала ему приходиться в больницу... Не то что не разрешала, а настоятельно требовала. Самвел, например, случайно узнал, что у Лусине от самой болезни и от лечения выпали все волосы. Узнав об этом, он чуть не потерял рассудок. Вспомнил последний их разговор.

— Ты сегодня выглядишь лучше, — сказал он, глядя куда-то в сторону.

— Ты часто повторял, что самообман шутка противная. Не надо обманывать себя.

— Я люблю тебя.

— Нельзя любить женщину, у которой в день выпадает пуд волос.

— Я тебя буду любить всегда.

— Я знаю, что... Хотя все это ерунда. Вот что я тебя попрошу... Не приходи больше сюда.

— Глупышка.

— Я говорю серьезно.

— Глупышка, и только.

— Я уже предупредила врачей. Пойми, ведь мне тяжело. Вот ты твердил про самообман. А ведь ты прав. Ну что я буду обманывать себя! Мне тяжело оттого, что ты рядом и ты видишь, как я дурнею. Я женщина, а уж потом больная.

И действительно, Самвела больше не впускали. Он только иногда вместе с передатчиком посылал ей записки. Послал записку и после беседы с лечащим врачом. «Девочка моя. Глупышка ты моя. Я не знаю, что тебе сказать. Я не знаю, что сейчас происходит с тобой. Не знаю, что происходит с нами. Но почему-то верю, что все будет хорошо. Мне говорили, что наличие беременности сейчас крайне опасно для тебя. Может быть. Но если твой внутренний голос подсказывает тебе сохранить ребенка, значит, решай сама. Я боюсь тебе давать совет. Вдруг ошибусь. Единственное, что могу сказать, — это повторить: я верю. Верь и ты. Пусть у нас будет свой девиз: «Верю — верь». Если ты не хочешь, чтобы я приходил к тебе, — я не приду. Но если ты хочешь видеть меня, можешь каждый вечер до самой ночи смотреть в окно. Я буду стоять под окнами твоей палаты. Я верю твоей палате тоже...»

Я не только перелистывал историю болезни, не только вчитывался в каждую ее строку. Я встречался и с лечащими врачами. Справлялся у них, почему так поздно распознали беременность. Они ответили резонно: это была первая беременность Лусине. Сама она, как это часто бывает, понятия не имела, особенно в начальный период. Вот никто до поры до времени и не знал об этом. Хотя, если быть педантом, то, конечно, можно упрекать врачей за то, что диагноз был поставлен несвоевременно. Дело в том, что при данной тяжелой болезни беременность является осложняющим фактором. Об этом написано во всех монографиях. Я пишу рассказ документальный, и, думаю, не будет литературного криминала, если приведу здесь некоторые выдержки из научных монографий. «...Беременность, выявленная на любом из этапов развития заболевания, создает определенные трудности при ведении и особенности лечения

больных, еще больше усиливая тревогу врача за их дальнейшую судьбу». Иные авторы, вернее, иные школы, более категоричны: «Беременность способствует развитию заболевания, и поэтому есть настоятельная необходимость прервать ее, тем самым продлить жизнь больной».

Как видим, речь не идет о спасении больной, а о продлении ее жизни. Всего лишь о продлении. На сколько? Этого никто не знает. Ведь даже на один день продлить жизнь — это большая победа. И в самой этой победе — человечность. Помню день одиннадцатого апреля тысяча девятьсот шестьдесят первого года. Я студент Рязанского мединститута. В моей палате умирал больной. Клиническая смерть. Врачи, сестры и мы, студенты-ординаторы, сделали все, чтобы спасти его жизнь. Хотя бы на одно мгновение спасти. И спасли. Двенадцатого апреля мы ему показали портрет Юрия Алексеевича Гагарина. Больной долго смотрел на улыбку космонавта и, едва шевеля губами, сказал: «Ради этого дня стоило жить и ждать». Умер он тринадцатого апреля, через день после полета Гагарина.

Один день — это не только и не просто победа медика. Это сама жизнь для больного. Для человека. И врачи, предлагая Лусине прервать беременность, конечно, прежде всего думали о ней. Думали о том, как хоть на мгновение продлить ей жизнь. Как видим, так думали не только лечащие врачи. Сама медицина была категоричной.

Другого выхода нет. Нет примеров медицинской практики. И как бы ни старались врачи во время своих бесконечных бесед с больной сохранить врачебную тайну о фатальности самой болезни, о трагическом исходе вообще, все же бывали иногда излишне откровенны. Видимо, это делали для того, чтобы убедить больную в необходимости прервать беременность. Лусине не вступала в переговоры, старалась быть спокойной. Но после запрашивала врачей говорить на эту тему. Лишь однажды обронила фразу, которую лечащий врач записал в истории болезни: «Если мне суждено умереть, то я предпочитаю умереть матерью». Фраза эта ей самой показалась очень громкой и очень напыщенной. Об этом она написала в записке Самвелу: «Знаешь, я сегодня произнесла очень и очень громкую фразу. Ты бы, наверно, подтрунил надо мной, услышав ее. Я принимаю твой девиз «Верю — верь». Несколько раз хотела открыть окно, позвать тебя, но передумала. Я не знаю, что будет со мной. Но знаю другое: у нас будет ребенок. Он уже колотит меня в бок. Скажу тебе по секрету: я уже давно никаких лекарств, можно сказать, не пью. При-

носят мне целую пригоршню. Я не пью. Не выдавай меня. Верю — верь. Маленькому ведь нельзя такое обилие лекарств, а мне они ни к чему. Я теперь все знаю о своей болезни. В ординаторской полно медицинских книг. Я по ночам читала. Знаю, что она неизлечима. И о ребенке тоже знаю. Но я очень хочу ребенка. Мы же с тобой договорились, что наш бог есть. Если он есть, то не может не помочь мне. Я очень верю, что все будет хорошо. И о лекарствах пишу, чтобы ты не переживал, чтобы ты не думал, что они повредят малышу. Только для этого я пишу тебе обо всем. Я верю, что все будет хорошо. Я очень хочу, чтобы ты был счастлив. Верю — верь».

Самвел не знал, как реагировать на эту новость. Ведь стоило только сказать ему о каком-нибудь новом лекарственном препарате, как он его доставал, что называется, из-под земли. Однажды достал лекарство через самого католика. И вдруг оказывается — она не пьет. Что это? Не самообман ли? Лежит в больнице. Ей прописывают лекарства, меняют курс лечения. Лежит уже несколько месяцев, и вдруг выясняется, что она вовсе и не лечится. Все тот же самообман.

Самвел не выдал. Девиз «Верю — верь» связал его по рукам и ногам. Решил во что бы то ни стало повидаться с женой. Писал записки, говорил по телефону. Просил, умолял. Тщетными были все старания. Ему рассказывали, как выглядит Лусине. Он уже и не помнил, кто ему рассказал. Лишь упрекал себя, что не прервал человека, взявшегося с подробностями описать его жену. «Голова совершенно лысая. Кожа да кости. Едва передвигается по палате. Вся покрыта синюшными пятнами. В глазах один только туман». Но в последнее время врачи говорили о каких-то необычных переменах. Прибавила в весе. На лице появилась улыбка. Да и записки уже стали иными. В них нет обреченности. Правда, никакой обреченности не было и в первых записках. Но в последних — сама жизнь. Все чаще и чаще специализированную клинику посещали акушеры-гинекологи. И все больше и больше Самвел думал о ребенке.

Последние недели он ночевал в Эчмиадзине, в отцовском доме жены. Ему так хотелось. Каждую ночь из больничного дворика он начинал свой путь в Эчмиадзин, в сказочный город, овеянный легендами. Город, который был когда-то столицей Армении. Город, в котором сейчас находится резиденция католика всех армян. Он не знал, почему ему так хотелось, но догадывался. Ему хотелось туда, где родные Лусине. Хотелось, чтобы все и всё говорило о ней.

В то раннее утро он встал с постели и резко отдернул шторы. Комната вмиг залилась ярким светом. Из окна хорошо был виден Арарат с двумя белыми вершинами. В то утро все кругом было белым-бело. Выпал первый снег. Значит, уже зима. Значит, более полугода Лусине болеет.

Самвел выскочил на улицу, прищурился от обилия света, и отправился на автобусную остановку. В конверте лежала записка, которую он написал перед сном. Он достал ее и, прижавшись к заиндевелому стеклу автобуса, начал читать про себя: «Мне сказали, ты уже вновьводишь глаза. Я ругаю себя за то, что раньше ворчал на тебя, когда ты долго стояла перед зеркалом. Я хочу этого. Я теперь ночую в доме, где ты выросла. Смотрю из твоего окна на Арарат. Он хорошо помнит тебя. Он ждет тебя. Я счастлив, что у меня есть и ты, и Арарат. И счастлив тем, что вы оба вечны. Вы оба будете всегда. Теперь я в этом не сомневаюсь. Верю — верь...»

В больничном коридоре Самвел подзвал знакомую медицинскую сестру и, как это бывало всегда, попросил передать Лусине сверток и записку.

— А Лусине нет, — тихо сказала сестра.

— Как нет?! — закричал Самвел.

— Да вы не волнуйтесь. Ее ночью увезли в родильный дом.

О том, что Лусине Арутюнян перевезли в родильный дом, есть запись в истории болезни номер 311. В ней говорится, что сердцебиения матери и плода ритмичные.

...Вечером Лусине подошла к палатному окну и стала разглядывать Главный проспект в свете ярких электрических ламп. Сердце забилось часто-часто, когда она увидела стоящего под деревом Самвела с широкими покатыми плечами. Стоял он, простоволосый, с приподнятым воротом плаща, и ежилась от холода. Лусине медленно села на кровать и на листочке от ученической тетради написала: «Дорогой мой. Извини меня. Я тебя замучила. Мне сейчас очень хорошо. Правда, я страшно боюсь. Но все равно мне хорошо. Знаешь, за полгода я, можно сказать, похоронила всех моих соседок по палате. А на одной койке даже успели побывать четверо. Одна я осталась. Теперь уже сутки, как я здесь, на новом месте, и так много радости. Чуть ли не каждый час рождаются дети. То и дело слышишь истошный крик женщин. Потом все стихает. А потом раздается детский плач. Я так боюсь. Ты знаешь, здесь женщины с особой гордостью говорят о том, что их мужья стоят под окнами. Раньше я не хотела этого. Теперь я тебя очень прошу — не отходи от моего окна. Верю — верь!»

До самого утра Самвел не отходил ни на шаг от стены родильного дома. Он думал о своей Лусине. Вспоминал, как перед самой свадьбой она сказала:

— У нас будут красивые дети.

— Если они пойдут в тебя, то вряд ли.

— Бессовестный. А у самого нос с горбинкой. Походка как у грузчика.

— Не как у грузчика, а как у моряка. Я люблю твои глаза. Я люблю твои волосы.

— Не верю. Сам говоришь, что я некрасивая, что наши дети...

— Наши дети будут самые красивые на свете. У них у всех будут красивые глаза и красивые волосы.

...О рождении сына Самвел узнал утром. У входа в родильный дом собрались родственники, друзья. Все почему-то плакали...

...Я перелистываю страницу за страницей. Во всем родильном доме только у Лусине Арутюнян была такая история болезни. И теперь в ней пошли необычные записи, словно речь и не идет о больной. Собственно, а кто и когда сказал, что роженица — это больная. И Лусине не больная. Об этом говорят сами записи. О матери отдельно и о ребенке, у которого еще нет имени, — отдельно. Всё как у всех, как у всех здоровых. «Рефлексы нормальные. Грудь взял сразу. Молоко — в достаточном количестве».

У входа в родильный дом в солнечный, но морозный день собралась целая толпа. И когда открылась дверь, вперед вышел Самвел. Он подхватил сына из рук медсестры, сопровождавшей Лусине. Лицо ребенка было закрыто. Кто-то хотел приоткрыть, но женщины запротестовали. Холодно очень. Самвел долго всматривался в лицо жены. Из-под платка свисали густые, но словно подстриженные волосы. Это были те же волосы. Мягкие, каштановые. Самвел не слышал гомона родственников. Он смотрел в глаза жены. Они по-прежнему излучали свет...

Перед тем как поехать в Эчмиадзин, где в это время находилась семья Арутюнянов, я вновь посетил лечащих врачей. Мне хотелось узнать, как они все-таки объясняют этот... случай. Ведь у нас, у медиков, человеческие судьбы принято называть «случаями». Лечащие врачи это называют казуистикой. Они спорили, перебивая друг друга. Я только записывал: «Казуистика», «То самое исключение из правил», «Очевидно, но факт», «Явление, которое невозможно объяснить»...

Но из откровенных суждений и отдельных реплик я вывел для себя, пожалуй, самое важное. Они, мои коллеги, шли наперекор академическим канонам, боролись за жизнь, презрев устоявшиеся, может, веками медицинские догмы. В какой-то момент они сами поверили в силу духа Лусине. И может поэтому в истории болезни стали появляться записи, проникнутые беспокойством о будущем, — записи о так называемой «шадящей терапии» ради ребенка. Мои коллеги верили в силу духа Лусине больше, чем себе, больше, чем в себя и в своих предшественников. Верили в то, что, спасая жизнь, которую Лусине носила под сердцем, она сама была спасена этой же жизнью, возрождена к жизни. Я понял другое: никакой, собственно, казуистики. Просто во всем была сама жизнь. Во всем было естественное стремление победить смерть. И жизнь, победившая смерть, спасла новую жизнь. У Лусине впоследствии родился еще один ребенок.

...Дверь открыла молодая красивая женщина с искусно подведенными глазами, с пышными, хорошо уложенными каштановыми волосами. Она знала о моем визите. Широко улыбнулась и предложила сесть у самого окна. Извинившись, выскочила на кухню. Оттуда доносились густые вкусные запахи. Не успел я осмотреться, как в комнату с шумом ворвался плотненький мальчуган лет пяти. Глазенки горели, щеки красные, лицо сияет. Увидев меня, мальчик остановился, то и дело поглядывая назад, словно ожидая кого. Вскоре в дверях появился высокий мужчина с крупным орлиным носом, широко покатыми плечами. На руках у него была курчавая круглолицая девочка. Увидев незнакомца в доме, она прижалась к отцу и, наклонив голову, принялась разглядывать гостя. В прихожую из кухни вышла хозяйка дома, вытирая на ходу фартуком влажные руки. На ее красивом лице была все та же неизменная широкая улыбка. Я всматривался в это лицо, и мне показалось, что она будто стесняется своего счастья. Мальчик бросился к матери. Потянулась к ней и девочка, вырываясь из объятий отца. Передав дочь жене, мужчина подошел ко мне. Мы молча пожали друг другу руки. Он отдернул занавеску. В комнате стало светлее. Я перевел взгляд на окно. Арарат был совсем рядом. Белые шапки обеих вершин искрились под лучами заходящего солнца на фоне безоблачной синевы.